

Маяковский Владимир

Стихи

Владимир Владимирович Маяковский

- А все-таки - А вы могли бы? - Вам! - Военно-морская любовь - Вот так я сделался собакой - Вывескам - Вывод - Гейнеобразное - Гимн здоровью - Дешевая распродажа - Казань - Ко всему - Кофта фата - Крым - Левый марш - Лиличка! - Любит? не любит? Я руки ломаю... - Любовь - Надоело - Натe! - Необычайное приключение - Ничего не понимают - Ночь - Облако в штанах - От усталости - Письмо Татьяне Яковлевой - Письмо товарищу Кострову - Послушайте! - России - Себе, любимому - Скрипка и немножко нервно - Стихи о советском паспорте - Товарищу Нетте, пароходу и человеку - Тучкины штучки - Ты - Универсальный ответ - Флейта-позвоночник - Хорошее отношение к лошадям - Эй! - Этот вечер решал... - Я (По мостовой...) - Я знаю силу слов, я знаю слов набат... - Я и Наполеон - Я счастлив!

НОЧЬ Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый броса-ли горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон разда-ли горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги. И раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги.

Толпа - пестрошерстая быстрая кошка плыла, изгибаясь, дверя-ми влекома; каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул, пугая ударами в жезл, хохотали арапы, над лбом расцветивши крыло попугая. 1912 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Худо-жественная Литература", 1967.

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО Скрипка издергалась, упра-шивая, и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдер-жал: "Хорошо, хорошо, хорошо!" А сам устал, не дослушал скрип-киной речи, шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка без слов, без такта, и только где-то глупая тарелка вылязгивала: "Что это?" "Как это?" А когда геликон меднорожий, потный, крикнул: "Дура, плакса, вы-три!" я встал, шатаюсь, полез через ноты, сгибающиеся под ужа-сом пюпитры, зачем-то крикнул: "Боже!", бросился на деревянную шею: "Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи: я вот тоже ору а доказать ничего не умею!" Музыканты смеются: "Влип как! При-шел к деревянной невесте! Голова!" А мне - наплевать! Я - хоро-ший. "Знаете что, скрипка? Давайте будем жить вместе! А?" 1914 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Худо-жественная Лите-ратура", 1967.

ПОСЛУШАЙТЕ! Послушайте! Ведь, если звезды зажигают зна-чит - это кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они

были? Значит - кто-то называет эти плевочки

жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит чтоб обязательно была звезда! клянется не перенесет эту беззвездную муку! А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: "Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да?!" Послушайте! Ведь, если звезды зажигают значит - это кому-нибудь нужно? Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда?! 1914 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ Я волком бы
выгрыз

бюрократизм. К мандатам
почтения нету. К любым
чертям с матерями
катись любая бумажка.

Но эту... По длинному фронту
купе

и кают чиновник
учтивый

движется. Сдают паспорта,
и я

сдаю мою

пурпурную книжицу. К одним паспортам
улыбка у рта. К другим

отношение левое. С почтеньем
берут, например,

паспорта с двухспальным
английским левою. Глазами

доброго дядю выев, не переставая
кланяться, берут,

как будто берут чаевые, паспорт
американца. На польский

глядят,

как в афишу коза. На польский
выпяливают глаза в тугой

полицейской слоновости откуда, мол,

и что это за географические новости? И не повернув
головы кочан и чувств

никаких

не изведав, берут,

не моргнув,

1000

паспорта датчан и разных
прочих
шведов. И вдруг,
как будто
ожогом,
рот скривило
господину. Это
господин чиновник
берет мою
краснокожую паспортину. Берет
как бомбу,
берет
как ежа, как бритву
обоюдоострую, берет,
как гремучую
в 20 жал змею
двухметроворостую. Моргнул
многозначаще
глаз носильщика, хоть вещи
снесет задаром вам. Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика, сыщик
на жандарма. С каким наслажденьем
жандармской кастой я был бы
исхлестан и распят за то,
что в руках у меня
молоткастый, серпастый
советский паспорт. Я волком бы
выгрыз
бюрократизм. К мандатам
почтения нету. К любым
чертям с матерями
катись любая бумажка.
Но эту... Я достаю
из широких штанин дубликатом
бесценного груза. Читайте,
завидуйте,

я

гражданин Советского Союза. 1929 В.В.Маяковский. Стихотворения, поэмы, пьесы. Минск, Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977.

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ Плыли по небу тучки. Тучек - четыре штучки:

от первой до третьей - люди; четвертая была верблюдик.
К ним, любопытством объятая, по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли, тучки взяли все - и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав, солнце погналось - желтый жираф. Мысль, вооруженная рифмами. изд.2е. Поэтическая антология по истории русского стиха. Составитель В.Е.Холшевников. Ленинград, Изд-во Ленинградского университета, 1967.

А ВЫ МОГЛИ БЫ? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? 1913 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

* * * Я знаю силу слов, я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек. Бывает, выбросят, не напечатав, не издав, но слово мчится, подтянув подпруги, звенит века, и подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки. Я знаю силу слов. Глядится пустяком, опавшим лепестком под каблуками танца, но человек душой губами костяком (неоконченное) Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

* * * I

Любит? не любит? Я руки ломаю и пальцы разбрасываю разломавши так рвут загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек Пускай седины обнаруживает стиржка и бритье Пусть серебро годов вызванивает уймою надеюсь верую вовеки не придет ко мне позорное благоразумие

II

Уже второй должно быть ты легла А может быть и у тебя такое Я не спешу и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить

III

море уходит вспять море уходит спать Как говорят инцидент исперчен любовная лодка разбилась о быт С тобой мы в расчете И не к чему перечень взаимных болей бед и обид.

IV

Уже второй должно быть ты легла В ночи Млечпуть серебряной Окою Я не спешу и молниями телеграмм Мне незачем тебя будить и беспокоить как говорят инцидент исперчен любовная лодка разбилась о быт С тобой мы в расчете и не к чему перечень взаимных болей бед и обид Ты посмотри какая в мире тишь Ночь обложила небо звездной данью в такие вот часы встаешь и говоришь векам истории 1000 и и мирозданию

печатается без знаков препинания, как в записной книжке Маяковского Мысль, вооруженная рифмами. изд.2е. Поэтическая антология по истории русского стиха. Составитель В.Е.Холшевников. Ленинград, Изд-во Ленинградского университета, 1967.

НАТЕ! Через час отсюда в чистый переулочек вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов шкатулок, я - бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста Где-то недокушанных, недоеденных щей; вот вы, женщина, на вас белила густо, вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа озверевает, будет тереться, оцетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется - и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я - бесценных слов транжир и мот. 1913 Серебряный век русской поэзии. Москва, "Просвещение", 1993.

КО ВСЕМУ Нет. Это неправда. Нет! И ты? Любимая, за что, за что же?! Хорошо я ходил, я дарил цветы, я ж из ящичка не выкрал серебряных ложек!

Белый, сшатался с пятого этажа. Ветер щеки ожег. Улица клубилась, визжа и ржа. Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури строгое древних икон чело. На теле твоём - как на смертном одре сердце дни кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты уронила только: "В мягкой постели он, фрукты, вино на ладони ночного столика".

Любовь! Только в моем воспаленном мозгу была ты! Глупой комедии остановите ход! Смотрите срываю игрушки-латы я, величайший Дон-Кихот!

Помните: под ношей креста Христос секунду усталый стал. Толпа орала: "Марала! Мааарррааала!"

Правильно! Каждого, кто об отдыхе взмолится, оплюй в его весеннем дне! Армии подвижников, обреченных добровольцам от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь клянусь моей языческой силою!дайте любую красивую, юную,души не растрачу, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести и в тысячу крат жни! В каждое ухо ввой: вся земля каторжник с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете, похороните выроюсь! Об камень обточатся зубов ножи еще! Собакой забьюсь под нары казарм! Буду, бешенный, вгры-

заться в ножища, пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскочите! Я звал! Белым быком возрос над землей: Муу-уу! В ярмо замучена шея-язва, над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь, в провода впутаю голову ветвистую с налитыми кровью глазами. Да! Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку! Молитва у рта, лег на плиты просящ и грязен он. Я возьму намалюю на царские врата на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь! Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, чтоб тысячами рождались мои ученики трубить с площадей анафему!

И когда, наконец, на веков верхи став, последний выйдет день им, в черных душах убийц и анархистов зажгусь кровавым видением!

Светает. Все шире разверзается неба рот. Ночь пьет за глотком глоток он. От окон зарево. От окон жар течет. От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя! Опять над уличной пылью ступенями строк ввысь поведи! До края полное сердце вылью в исповеди!

Грядущие люди! Кто вы? Вот - я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души. 1916 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

ТОВАРИЦУ НЕТТЕ, ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор. В порт,
горящий,

как расплавленное лето, разворачивался
и входил

товарищ "Теодор Нетте". Это - он.

Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов. -Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб,
канат 1000 ов

и крюков. Подойди сюда!

Тебе не мелко? От Батума,

чай, котлами покипел... Помнишь, Нетте,

в бытность человеком ты пивал чай

со мною в дип-купе? Медлил ты.

Захрапывали сони. Глаз

кося

в печати сургуча, напролет

болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел,

стихи уча. Засыпал к утру.

Курок

аж палец свел... Суньтесь

кому охота! Думал ли,
что через год всего встречусь я
с тобою
с пароходом. За кормой луница.
Ну и здорово! Залегла,
просторы надвое порвав. Будто навек
за собой
из битвы коридоровой тянешь след героя,
светел и кровав. В коммунизм из книжки
верят средне. "Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!" А такое
оживит внезапно "бредни" и покажет
коммунизма
естество и плоть. Мы живем,
зажатые
железной клятвой. За нее
на крест,
и пулею чешите: это
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий*, жить единым
человечьим общежитьем. В наших жилах
кровь, а не водица. Мы идем
сквозь револьверный лай, чтобы,
умирая,
воплотиться в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

*

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась. Но в конце хочу
других желаний нету встретить я хочу
мой смертный час так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

* Нетте был убит на территории буржуазной в то время Латвии.
15 июля 1926, Ялта Русские поэты. Антология в четырех томах.
Москва, "Детская Литература", 1968.

Ты Пришла деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела
просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть
как девочка мячиком. И каждая чудо будто видится где дама вко-
палась, а где девица. "Такого любить? Да этакий ринется! Должно,
укротительница. Должно, из зверинца!" А я ликую. Нет его ига!

От радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал, так было весело, было легко мне. Песнь Любви. Стихи. Лирика русских поэтов. Москва, Изд-во ЦК ВЛКСМ "Молодая Гвардия", 1967.

* * * Этот вечер решал не в любовники выйти ль нам? темно, никто не увидит нас. Я наклонился действительно, и действительно я, наклонясь, сказал ей, как добрый родитель: "Страсти крут обрыв будьте добры, отойдите. Отойдите, будьте добры". Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Худоожественная Литература", 1967.

ОБЛАКО В ШТАНАХ Тетраптих

(вступление)

Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут: досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огромив мощью голоса, иду - красивый, двадцатидвухлетний.

Нежные! Вы любовь на скрипки ложите. Любовь на литавры ложит грубый. А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться из гостиной батистовая, чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите буду от мяса бешеный - и, как небо, меня тона хотите буду безукоризненно нежный, не мужчина, а - облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца! Мною опять славословятся мужчины, залежанные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было, было в Одессе.

"Пр 1000 иду в четыре",- сказала Мария. Восемь. Девять. Десять.

Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон, хмурый, декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце - холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское.

И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого: должно быть, маленький, смиренный любёночек. Она шарахается автомобильных гудков. Любит звоночки коночек.

Еще и еще, уткнувшись дождю лицом в его лицо рябое, жду, обрызганный громом городского прибоа.

Полночь, с ножом мечась, догнала, зарезала, вон его!

Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного.

В стеклах дождевки серые свылись, гримасу громадили, как будто воют химеры Собора Парижской Богоматери.

Проклятая! Что же, и этого не хватит? Скоро криком издерется рот. Слышу: тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв. И вот, сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он и новые два мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы большие, маленькие, многие! скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб.

Вошла ты, резкая, как "нате!", муча перчатки замш, сказала: "Знаете я выхожу замуж".

Что ж, выходите. Ничего. Покреплюсь. Видите - спокоен как! Как пульс покойника. Помните? Вы говорили: "Джек Лондон, деньги, любовь, страсть", а я одно видел: вы - Джоконда, которую надо украсть! И украли.

Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что же! И в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги!

Дразните? "Меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумий". Помните! Погибла Помпея, когда раздражили Везувий!

Эй! Господа! Любители святотатств, преступлений, боен, а самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен?

И чувствую "я" для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которые изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают запах жареным! Нагнали каких-то. Блестящие! В касках! Нельзя сапожища! Скажите пожарным: на сердце горящее лезут в ласках. Я сам. Глаза на слезные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуишко
броситься вырос.

Мама! Петь не могу. У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горяще-
го здания. Так страх схватиться за небо высил горящие руки "Лу-
зитании".

Трясущимся людям в квартирное тихо стоглазое зарево рвется
с пристани. Крик последний, ты хоть о том, что горю, в столетия
выстони!

2

Славьте меня! Я великим не чета. Я над всем, что сделано,
ставлю "nihil".

Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги!

Я раньше думал книги делаются так: пришел поэт, легко раз-
жал уста, и сразу запел вдохновенный простак пожалуйста! А
оказывается прежде чем начнет петься, долго ходят, размозолев
от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла вооб-
ражения. Пока выкипачивают, рифмами пилика, из любвей и
соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая ей нечем
кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова, а бог
города на пашни рушит, мешая слово.

Улица муку молча пёрла. Крик торчком стоял из глотки. Топор-
щились, застрявшие поперек горла, пухлые taxi и костлявые про-
летки грудь испешеходили.

Чухотки плоче. Город дорогу мраком запер.

И когда все-таки! выхаркнула давку на площадь, спихнув насту-
пившую на го 1000 рло паперть, думалось: в хорах архангелова
хорала бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала: "Идемте жрать!"

Гримируют городу Крупны и Крупники грозящих бровей
морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики, только два
живут, жирея "сволочь" и еще какое-то, кажется, "борщ".

Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, бросились от улицы,
ероша космы: "Как двумя такими выпеть и барышню, и любовь,
и цветочек под росами?" А за поэтами уличные тыщи: студенты,
проститутки, подрядчики.

Господа! Остановитесь! Вы не нищие, вы не смеее просить
подачки!

Нам, здоровенным, с шаго саженьим, надо не слушать, а рвать
их их, присосавшихся бесплатным приложением к каждой дву-
спальной кровати!

Их ли смиренно просить: "Помоги мне!" Молить о гимне, об
оратории! Мы сами творцы в горящем гимне шуме фабрики и

лаборатории.

Что мне до Фауста, феерией ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете! Я знаю гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я, златоустейший, чье каждое слово душу новородит, именинит тело, говорю вам: мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте! Проповедует, мечась и стена, сегодняшнего дня крикогубый Заратустра! Мы с лицом, как заспанная простыня, с губами, обвисшими, как люстра, мы, каторжане города-лепрозория, где золото и грязь изъязвили проказу, мы чище венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы, от копоти в оспе. Я знаю солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы - молитв верней. Нам ли вымаливать милостей времени! Мы каждый держим в своей пятерне миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы: "Распни, распни его!" Но мне люди, и те, что обидели вы мне всего дороже и ближе.

Видели, как собака бьющую руку лижет?!

Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабресный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год.

А я у вас - его предтеча; я - где боль, везде; на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте. Уже ничего простить нельзя. Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч Бастилий!

И когда, приход его мятежом оглашая, выйдете к спасителю вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая!и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это, откуда это в светлое весело грязных кулачищ замах!

Пришла и голову отчаянием занавесила мысль о сумасшедших домах.

И как в гибель дредноута от душащих спазм бросаются в разинутый люк сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, Бурлюк. Почти окровавив исслезенные веки, вылез, встал, пошел и с нежностью, неожиданной в жирном человеке взял и сказал:

"Хорошо!" Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана! Хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту, крикнуть: "Пейте какао Ван-Гутена!"

И эту секунду, бенгальскую, громкую, я ни на что б не выменял, я ни на...

А из сигарного дыма ликерною рюмкой вытягивалось пропитое лицо Северянина. Как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать, как перепел! Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе!

Вы, обеспокоенные мыслью одной "изящно пляшу ли", смотрите, как развлекаюсь я площадной сутенер и карточный шулер. От вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетия слеза лилась, уйду я, солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и жегся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясами, хотя отдаться; вещи оживут губы вещины засюсюкают: "цаца, цаца, цаца!"

Вдруг и тучи и облачное прочее подняло на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небу объявив озлобленную стачку. Гром из-за тучи, зверея, вылез, громадные ноздри задорно высморкая, и небе лицо секунду кривилось суровой гримасой железного Бисмарка. И кто-то, запутавшись в облачных п 1000 утах, вытянул руки к кафе и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет.

Вы думаете это солнце нежненько треплет по щечке кафе? Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук пришел чтоб и бился лбом бы! Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие, закисшие в блохастом грязненьке! Идите! Понедельники и вторники окрасим кровью в праздники! Пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!

Земле, обжиревшей, как любовница, которую вылюбил Ротшильд! Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников.

Изругивался, вымаливался, резал, лез за кем-то вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат. Уже сумашествие.

Ничего не будет.

Ночь придет, перекусит и съест. Видите небо опять иудит пригоршню обгрызанных предательством звезд?

Пришла. Пирует Мамаем, задом на город насеv. Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы, вином обливаю душу и скатерть и вижу: в углу - глаза круглы, глазами в сердце въелась богоматерь. Чего одаривать по шаблону намалеванному сиянием трактирную ораву! Видишь - опять голгофнику оплеванному предпочитают Варавву? Может быть, нарочно я в человеческом месиве лицом никого не новей. Я, может быть, самый красивый из всех твоих сыновей. Дай им, заплесневшим в радости, скорой смерти времени, чтоб стали дети, должные подрасти, мальчики - отцы, девочки - забеременели. И новым рожденным дай обрасти пытливой сединой волхвов, и придут они и будут детей крестить именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию, может быть, просто, в самом обыкновенном Евангелии тринадцатый апостол. И когда мой голос похабно ухаает от часа к часу, целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария! Пусти, Мария! Я не могу на улицах! Не хочешь? Ждешь, как щеки провалятся ямкою попробованный всеми, пресный, я приду и беззубо прошамкаю, что сегодня я "удивительно честный". Мария, видишь я уже начал сутулиться.

В улицах люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, высунут глазки, потертые в сорокгодовой таске, перехихикиваться, что у меня в зубах - опять! черствая булка вчерашней ласки. Дождь обрыдал тротуары, лужами сжатый жулик, мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп, а на седых ресницах да! на ресницах морозных сосуллек слезы из глаз да! из опущенных глаз водосточных труб. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет; лопались люди, проевшись насквозь, и сочились сквозь трещины сало, мутной рекой с экипажей стекала вместе с иссосанной булкой жевотина старых котлет.

Мария! Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово? Птица побирается песней, поет, голодна и звонка, а я человек, Мария, простой, выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни. Мария, хочешь такого? Пусти, Мария! Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны. На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь - натыканы в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка! Не бойся, что у меня на шее воловьей потноживотые женщины мокрой горою сидят, это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова, в измены ненастье, прильну я к тысячам хорошеньких лиц, "любящие Маяковского!" да ведь это ж династия на сердце сумасшедшего восшедших цариц. Мария, ближе! В раздетом бесстыдстве, в боящейся дрожи ли, но дай твоих губ неисцветшую прелесть: я с сердцем ни разу до мая не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть. Мария!

Поэт сонеты поет Тиане, а я весь из мяса, человек весь тело твое просто прошу, как просят христиане "хлеб наш насущный даждь нам днесь".

Мария - дай!

Мария! Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное богу. Тело твое я буду беречь и любить, как солдат, обрубленны 1000 й войною, ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу. Мария не хочешь? Не хочешь!

Ха!

Значит - опять темно и понуро сердце возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу. Кровью сердце дорогу радую, липнет цветами у пыли кителя. Тысячу раз опляшет Иродиадой солнце землю голову Крестителя. И когда мое количество лет выпляшет до конца миллионом кровинок устелется след к дому моего отца.

Вылезу грязный (от ночевок в канавах), стану бок о бок, наклонюсь и скажу ему на ухо: - Послушайте, господин бог! Как вам не скушно в облачный кисель ежедневно обмакивать раздобрившие глаза? Давайте - знаете устроимте карусель на дереве изучения добра и зла! Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу хмурому Петру Апостолу. А в рае опять поселим Евочек: прикажи, сегодня ночью ж со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головою, кудластый? Супишь седую бровь? Ты думаешь этот, за тобою, крыластый, знает, что такое любовь? Я тоже ангел, я был им сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из сервской муки изваянных ваз. Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?! Я думал - ты всеильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю! Ерошьте перышки в испуганной тряске! Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите. Вру я, в праве ли, но я не могу быть спокойней. Смотрите звезды опять обезглавили и небо окровавили бойней! Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!

Глухо.

Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. 1914-1915 В.В.Маяковский. Стихотворения, поэмы, пьесы. Минск, Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977.

ЛИЛИЧКА! Вместо письма

Дым табачный воздух выел. Комната глава в крученыховском аде. Вспомни за этим окном впервые руки твои, исступленный, гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе. День еще выгонишь, можешь быть, изругав. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я. Дикий, обезумлюсь, отчаяньем иссекаюсь. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда ни бежала б. Дай в последнем крике выреветь горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей, мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон царственный ляжет в опожаренном песке. Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучила, он любимую на деньги б и славу выменял, а мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек... Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша?

Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. 26 мая 1916, Петроград Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ Молнию метнула глазами: "Я видела с тобой другая. Ты самый низкий, ты подлый самый..." И пошла, и пошла, и пошла, ругая. Я ученый малый, милая, громыханья оставьте ваши, Если молния меня не убила то гром мне, ей-богу, не страшен. Чудное Мгновенье. Любовная лирика русских поэтов. Москва, "Художественная литература", 1988.

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК поэма

За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравнице, подьемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт.

Память! Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди. Смех из глаз в глаза лей. Былыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте. Пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая! Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы узки. Праздник нарядных черпал и черпал. Думаю. Мысли, крови сгустки, больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь и голову вымозжу каменным Невским! Вот я богохулил. Орал, что бога нет, а бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби!

Бог доволен. Под небом в круче измученный человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек. Думает бог: погоди, Владимир! Это ему, ему же, чтоб не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стёганье одеялово, знаю запахнет шерстью паленной, и серой издымится мясо дьявола. А я вместо этого до утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал, уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты бы играть! В вино выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя! Не хочу! Все равно я знаю, я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты, боже, боже мой, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли, ежедневно множимой, тобой ниспослана, господи, пытка, судебскую цепь надень. Жди моего визита. Я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, всевышний инквизитор!

Рот зажму. Крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным, и вымчи, рвя о звездные зубья. Или вот что: когда душа моя выселится, выйдет на суд твой, выхмурясь тупенько, ты, Млечный Путь перекинув виселицей, возьми и вздерни меня, преступника. Делай что хочешь. Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, праведный, руки вымою. Только слышишь! убери проклятую ту, которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну. Куда я денусь, этот ад тая! Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо, в дымах забывшее, что голубо, и тучи, ободренные беженцы точно, вызарю в мою последнюю любовь, яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев скопа забывших о доме и уюте. Люди, слушайте! Вылезьте из окопов. После довоюете.

Даже если, от крови качающийся, как Бахус, пьяный бой идет слова любви и тогда не ветхи. Милые немцы! Я знаю, на губах у вас гётевская Гретхен. Француз, улыбаясь, на штыке мрет, с улыбкой разбивается подстреленный авиатор, если вспомнят в поцелуе рот твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти, которую столетия выжуют. Сегодня к новым ногам лягте! Тебя пою, покрашенную, рыжую.

Может быть, от дней этих, жутких, как штыков остря, когда столетия выбелят бороду, останемся только ты и я, бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана, спрячешься у ночи в норе я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны, где львы начеку, тебе под пылью, ветром рваной, положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь, смотришь тореадор хорош как! И вдруг я ревность метну в ложи мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный думать, хорошо внизу бы. Это я под мостом разлился Сеной, зову, скалю гнилые зубы. С другим зажгешь в огне рысаков Стрелку или Сокольники.

Это я, взобравшись туда высоко, луной томлю, ждущий и голенький. Сильный, понадоблюсь им я велят: себя на войне убей! Последним будет твое имя, запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу? Святой Еленой? Буре жизни о 1000 седлав валы, я - равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы.

Быть царем назначено мне твое личико на солнечном золоте моих монет велю народу: вычекань! А там, где тундрой мир вылинял, где с северным ветром ведет река торги, на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо, выщетилившиеся, звери точно! Это, может быть, последняя в мире любовь вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число. Запрусь одинокий с листом бумаги я. Творишь, просветленных страданием слов нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам, почувствовал в доме неладно. Ты что-то таила в шелковом платье, и ширился в воздухе запах ладана. Рада? Холодное "очень". Смятеньем разбита разума ограда. Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай, все равно не спрячешь трупа. Страшное слово на голову лавь! Все равно твой каждый мускул как в рупор трубит: умерла, умерла, умерла! Нет, ответь. Не лги! (Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся. Нету дна там. Кажется, рухну с помоста дней. Я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю, любовь его износила уже. Скуку угадываю по стольким признакам. Вымолоди себя в моей душе. Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю, каждый за женщину платит. Ничего, если пока тебя вместо шика парижских платьев одену в дым табака. Любовь мою, как апостол во время оно, по тысяче тысяч разнесу дорог. Тебе в веках уготована корона, а в короне слова мои радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми завершали победу Пиррову, Я поступью гения мозг твой выгромил. Напрасно. Тебя не вырву.

Радуйся, радуйся, ты доконала! Теперь такая тоска, что только б добежать до канала и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала. Как ты груба ими. Прикоснулся и остыл. Будто целую покаянными губами в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали двери. Вошел он, весельем улиц орошен. Я как надвое раскололся в вопле, Крикнул ему: "Хорошо! Уйду! Хорошо! Твоя останется. Тряпок нашей ей, робкие крылья в шелках зажирили б. Смотри, не уплыла б. Камнем на шее навесь жене жемчуга ожерелий!"

Ох, эта ночь! Отчаянье стягивал туже и туже сам. От плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик, глазами вызарила ты на ковре его, будто вымечтал какой-то новый Бялик ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке перед той, которую отдал, коленопреклоненный выник. Король Альберт, все города отдавший, рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы! Весеньтесь жизни всех стихий! Я хочу одной отравы пить и пить стихи.

Сердце обокравшая, всего его лишив, вымучившая душу в бреду мою, прими мой дар, дорогая, больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число. Творишь, распятью равная магия. Видите гвоздями слов прибит к бумаге я. 1915 Стрфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск-Москва, "Полифакт", 1995.

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР Четыре. Тяжелые, как удар. "Кесарево кесарю - богу богово". А такому, как я, ткнуться куда? Где мне уготовано логово?

Если бы я был маленький, как океан, на цыпочки волн встал, приливом ласкался к луне бы. Где любимую найти мне, Таковую, как и я? Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был! Как миллиардер! Что деньги душе? Ненасытный вор в ней. Моих желаний разнузданной орде не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка! Душу к одной зажечь! Стихами велеть истлеть ей! И слова и любовь моя триумфальная арка: пышно, бесследно пройдут сквозь нее любовницы всех столетий.

О, если б был я тихий, как гром, ныл бы, дрожью объял бы земли одряхлевший скит. Я если всей его мощью выреву голос огромный, кометы заломят горящие руки, бросаясь вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи о, если б был я тусклый, как солнце! Очень мне н 1000 адо сияньем моим поить земли отощавшее лонце!

Пройду, любвищу мою волоча. В какой ночи бредовой, недужной какими Голиафами я зачат такой большой и такой ненужный? 1916 В.В.Маяковский. Стихотворения, поэмы, пьесы. Минск, Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977.

ВЫВОД Не смоят любовь ни ссоры, ни версты. Продумана, выверена, проверена. Подъемля торжественно стих стокоперстый, клянусь люблю неизменно и верно! 1922 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

Я СЧАСТЛИВ! Граждане,
у меня
огромная радость. Разулыбьте
сочувственные лица. Мне
обязательно
поделиться надо, стихами
хотя бы
поделиться. Я сегодня
дышу как слон, походка
моя
легка, и ночь
пронеслась,
как чудесный сон, без единого
кашля и плевка. Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.
Дни осени

баней воняют, а мне
цветут,
извините,
розы, и я их,
представьте,
обоняю. И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные, аж вытаращит
глаза
редактор. Стал вынослив
и работоспособен, как лошадь
или даже
трактор. Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен, укреплен
и приведен в равновесие. Стопроцентная
экономия
на основном расходе и поздоровел
и прибавил в весе я. Как будто
на язык
за кусом кус кладут
воздушнейшие торты такой
установился
феерический вкус в благоуханных
апартаментах
рта. Голова
снаружи
всегда чиста, а теперь
чиста и изнутри. В день
придумывает
не меньше листа, хоть Толстому
ноздрю утри. Женщины
окружили,
платья испестря, все
спрашивают
имя и отчество, я стал
определенный
весельчак и остряк ну просто
душа общества. Я порозовел
и пополнел в лице, забыл
и гриппы
и кровать. Граждане,
вас

интересует рецепт? Открыть?
или...

не открывать? Граждане,
вы
утомились от жданья, готовы
корить и крыть. Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане
я сегодня

бросил курить. 1929 Владимир Маяковский. Навек любовью
ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ЛЮБОВЬ Мир

опять
цветами оброс, у мира
весенний вид. И вновь
встает
нерешенный вопрос о женщинах
и о любви. Мы любим парад,
нарядную песню. Говорим красиво,
выходя на митинг. На часто
под этим
покрытой плесенью, старенький-старенький бытик. Поет на
собрание:

"Вперед, товарищи..." А дома,
забыв об арии сольной, орет на жену,
что щи не в наваре и что

огурцы
плоховато просолены. Живет с другой
киоск в ширину, бельем
шантанная дива. Но тонким чулком
попрекает жену: - Компрометируешь
пред коллективом. То лезут к любой,
была бы с ногами. Пять баб
переменит
в течении суток. У нас, мол,
свобода,
а не моногамия. Долой мещанство
и предрассудок! С цветка на цветок
молодым стрекозлом порхает,
летает
и мечется. Одно ему
в мире

кажется злом это
алиментщица. Он рад умереть, экономя треть, три года

судиться рад: и я, мол, не я, и она не моя, и я вообще
1000
кастрат. А любят,
так будь
монашенкой верной тиранит
ревностью
всякий пустяк и мерит
любовь
на калибр револьверный, неверной
в затылок
пулю пустя. Четвертый
герой десятка сражений, а так,
что любо-дорого, бежит
в перепуге
от туфли жениной, простой туфли Мосторга. А другой
стрелу любви
иначе метит, путает
- ребенок этакий уловленье
любимой
в романтические сети с повышеньем
подчиненной по тарифной сетке. По женской линии тоже вам
не райские скинии. Простенького паренька подцепила
барынька. Он работать,
а ее
не удержать никак бегаёт за клёшем
каждого бульварника. Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься. Ишь!
Жених! - Для кого ж я, милые, женился? Для себя
или для них? У родителей
и дети этакого сорта: - Что родители?
И мы
не хуже, мол! Занимаются
любовью в виде спорта, не успев
вписаться в комсомол. И дальше,
к деревне,
быт без движеньица живут, как и раньше,
из года в год. Вот так же
замуж выходят
и женятся, как покупают
рабочий скот. Если будет
длиться так
за годом годик, то, скажу вам прямо, не сумеет

разобрать
и брачный кодекс, где отец и дочь,
который сын и мама. Я не за семью.
В огне
и дыме синем выгори
и этого старья кусок, где шипели
матери-гусыни и детей
стерег
отец-гусак! Нет. Но мы живем коммуной
плотно, в общежитиях грязнеет кожа тел. Надо
голос
подымать за чистоплотность отношений наших
и любовных дел. Не отвиливай
мол, я не венчан. Нас
не поп скрепляет тарабарящий. Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин словом,
нас объединяющим:

"Товарищи". 1926 Русская советская поэзия. Под ред. Л.П.Кре-
менцова. Ленинград: Просвещение, 1988.

ПИСЬМО ТОВАРИЦУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮ-
БВИ Простите

меня,
товарищ Костров, с присущей
душевной ширью, что часть
на Париж отпущенных строф на лирику
я
растранжирю. Представьте:
входит
красавица в зал, в меха
и бусы оправленная. Я эту красавицу взял
и сказал: - правильно сказал
или неправильно? Я, товарищ,
из России, знаменит в своей стране я, я видал
девиц красивей, я видал
девиц стройнее. Девушкам
поэты любви. Я ж умен
и голосист, заговариваю зубы только
слушать согласись. Не поймать меня
на дряни, на прохожей
паре чувств. Я ж
навек
любовью ранен еле-еле волочусь. Мне
любовь

не свадьбой мерить: разлюбила
уплыла. Мне, товарищ,
в высшей мере наплевать
на купола. Что ж в подробности вдаваться, шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, тридцать...
с хвостиком. Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей, не в том,
что жгут угольями, а в том,
что встает за горами грудей над
волосами-джунглями. Любить
это значит:
в глубь двора вбежать
и до ночи грачьею, блестя топором,
рубить дрова, силой
своей
играючи. Любить
это с простынь,
бессонницей
рваных, срываться,
ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая
своим
соперником. Нам
любовь
не рай да кущи, нам
любовь
1000 гудит про то, что опять
в работу пущен сердца
выстывший мотор. Вы
к Москве
порвали нить. Годы
расстояние. Как бы
вам бы
объяснить это состояние? На земле
огней - до неба... В синем небе
звезд
до черта. Если бы я
поэтом не был, я б
стал бы
звездочетом. Подымает площадь шум, экипажи движутся, я
хожу,
стишки пишу в записную книжицу. Мчат
авто

по улице, а не свалят наземь. Понимают
умницы: человек
в экстазе. Сонм видений
и идей полон
до крышки. Тут бы
и у медведей выросли бы крылышки. И вот
с какой-то
грошовой столовой, когда
докипело это, из зева
до звезд
взвивается слово золоторожденной кометой. Распластан
хвост
небесам на треть, блестит
и горит оперенье его, чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть их ихней
беседки сиреневой. Чтоб подымать,
и вести,
и влечь, которые глазом ослабли. Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч хвостатой
сияющей саблей. Себя
до последнего стука в груди, как на свидание,
простаивая, прислушиваюсь:
любовь загудит человеческая,
простая. Ураган,
огонь,
вода подступают в ропоте. Кто
сумеет совладать? Можете?

Попробуйте.... 1928 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ЛЕВЫЙ МАРШ Разворачивайтесь в марше! Словесной не место
кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер. Довольно
жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним.
Левой! Левой! Левой!

Эй, синемлузые! Рейте! За океаны! Или у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?! Пусть, оскалась короной, вздымает бри-
танский лев вой. Коммуне не быть покоренной. Левой! Левой!
Левой!

Там за горами горя солнечный край непочатый. За голод за
мора море шаг миллионный печатай! Пусть бандой окружат на-
нятой, стальной изливаются леевой, России не быть под Антан-
той. Левой! Левой! Левой!

Глаз ли померкнет орлий? В старое станем ли пялиться? Крепи
у мира на горле пролетариата пальцы! Грудью вперед бравой!

Флагами небо оклеивай! Кто там шагает правой?левой!левой!
левой! 1918 Русская советская поэзия. Под ред. Л.П.Кременцова.
Ленинград: Просвещение, 1988.

Я По мостовой моей души изъезженной шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты. Где города повешены и в петле облака
застыли башен кривые выи иду один рыдать, что перекрестком
распяты городовые. 1913 Русская поэзия серебряного века. 1890-
1917. Антология. Ред. М.Гаспаров, И.Корецкая и др. Москва: Наука,
1993.

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ Ну, это совершенно невыноси-
мо! Весь как есть искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой взял бы и все обвыл.

Нервы, должно быть... Выйду, погуляю. И на улице не успоко-
ился ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо
ответить: она - знакомая. Хочу. Чувствую не могу по-человечьи.

Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя: такой же,
как был, лицо такое же, к какому привык. Тронул губу, а у меня
из-под губы клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому,
шаги удвоив. Бережно огибаю полицейский пост, вдруг оглуши-
тельное: "Городовой! Хвост!"

Провел рукой и - остолбенел! Этого-то, всяких клыков почище,
я не заметил в бешеном скаче: у меня из-под пиджака развеерил-
ся хвостик и вьется сзади, большой, собачий.

Что теперь? Один заорал, толпу растя. Второму прибавился
третий, четвертый. Смяли старушонку. Она, крестясь, что1000 то
кричала про черта.

И когда, оцетинив в лицо усища-веники, толпа навалилась,
огромная, злая, я стал на четвереньки и залаял: Гав! гав! гав! 1915
Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Мин-
ск-Москва, "Полифакт", 1995.

А ВСЕ-ТАКИ Улица провалилась, как нос сифилитика. Река -
сладострастье, растекшееся в слюни. Отбросив белье до последне-
го листика, сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь, выжженный квартал надел на голову,
как рыжий парик. Людям страшно - у меня изо рта шевелит нога-
ми непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают, как пророку, цветами
устелят мне след. Все эти, провалившиеся носами, знают: я - ваш
поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд! Меня одного
сквозь горящие здания проститутки, как святыню, на руках поне-
сут и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой! Не слова - судороги, слипшиеся комом; и побежит по небу с моими стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. 1914 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ По морям, играя, носится с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему, благодушью миноносью.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки, впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина: "Р-р-р-астакая миноносина!"

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится, а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему по ребру по миноносью.

Плач и вой морями носится: овдовела миноносица.

И чего это несносен нам мир в семействе миноносином? 1915 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

РОССИИ Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм. Спрятать голову, глупый, стараюсь, в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья, душа, уложись! И иная окажется родина, вижу выжжена южная жизнь.

Остров зноя. В пальмы овазился. "Эй, дорогу!" Выдумку мнут. И опять до другого оазиса вью следы песками минут.

Иные жмутся уйти б, не кусается ль? Иные изогнуты в низкую лесть. "Мама, а мама, несет он яйца?" Не знаю, душечка, Должен бы несть".

Ржут этажия. Улицы плятятся. Обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы, переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декабрей. 1916 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ОТ УСТАЛОСТИ Земля! Дай исцелюю твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот. Дымом волос над пожарами глаз из олова дай обовью я впалые груди болот. Ты! Нас - двое, ораненных, загнанных ланями, вздыбилось ржанье оседланных смертью коней. Дым из-за дома догонит нас длинными дланями, мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях

огней. Сестра моя! В богадельнях идущих веков, может быть, мать мне сыщется; бросил я ей окровавленный песнями рог. Квакая, скачет по полю канава, зеленая сыщица, нас заневолить веревками грязных дорог. 1913 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ Вошел к парикмахеру, сказал - спокойный: "Будьте добры, причешите мне уши". Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. "Сумасшедший! Рыжий!"запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка, и до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая реди 1000 ска. 1913 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

КОФТА ФАТА Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего. Желтую кофту из трех аршин заката. По Невскому мира, по лощеным полосам его, профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись: "Ты зеленые весны идешь насиловать!" Я брошу солнцу, нагло ослабившись: "На глади асфальта мне хорошо грассировать!"

Не потому ли, что небо голубо, а земля мне любовница в этой праздничной чистке, я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта девушка, смотрящая на меня, как на брата, закидайте улыбками меня, поэта,я цветами нашью их мне на кофту фата! 1914 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ВЫВЕСКАМ Читайте железные книги! Под флейту золоченой буквы полезут копченые сиги и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песней закружат созвездия "Магги"бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен, загасит фонарные знаки, влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки! 1913 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА Женщину ль опутываю в трогательный роман, просто на прохожего гляжу ли каждый опасно придерживает карман. Смешные! С нищих что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока кандидат на сажень городского морга я бесконечно больше богат, чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет - словом, не выживу с голода сдохну ль, стану ль под пистолет меня, сегодняшнего рыжего, профессора разучат до последних йот, как, когда, где явлен. Будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о богодьяволе.

Склонится толпа, лебезяца, суетна. Даже не узнаете я не я: облысевшую голову разрисует она в рога или в сияния.

Каждая курсистка, прежде чем лечь, она не забудет над стихами моими замлеть. Я - пессимист, знаю вечно будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа, - а ее богатства пойдите смерти ей! великолепие, что в вечность украсит мой шаг и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, коленопреклоненных соберет мировое вече, все это - хотите? сейчас отдам за одно только слово ласковое, человеческое.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона. Сегодня в Петрограде на Надеждинской ни за грош продается драгоценнейшая корона.

За человеческое слово не правда ли, дешево? Пойди, попробуй, как же, найдешь его! 1916 Владимир Маяковский. Лирика. Москва, "Художественная Литература", 1967.

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ Били копыта, Пели будто: - Гриб. Грабь. Гроб. Груб. Ветром опита, льдом обута улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клёшить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал: - Лошадь упала! - Упала лошадь! Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные...

Улица опрокинулась, течет по-своему...

Подошел и вижу За каплицей каплица по морде катится, прячется в шерсти...

И какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. "Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте чего вы думаете, что вы сих плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь". Может быть, - старая и не нуждалась в няньке, может быть, и мысль ей моя казалась пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И всё ей ка 1000 залось она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило. 1918 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ (Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла на даче было это. Пригорок Пушкино горбил Акуловой горою, а низ горы деревней был, кривился крыш корою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверно, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце ало. И день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу: "Слазь! довольно шлеться в пекло!" Я крикнул солнцу: "Дармод! занежен в облака ты, а тут - не знай ни зим, ни лет,

сиди, рисуй плакаты!" Я крикнул солнцу: "Погоди! послушай, златолобо, чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!" Что я наделал! Я погиб! Ко мне, по доброй воле, само, раскинув луч-шаги, шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать и ретируюсь задом. Уже в саду его глаза. Уже проходит садом. В окошки, в двери, в щель войдя, валилась солнца масса, ввалилось; дух переводя, заговорило басом: "Гоню обратно я огни впервые с сотворенья. Ты звал меня? Чаи гони, гони, поэт, варенье!" Слеза из глаз у самого жара с ума сводила, но я ему на самовар: "Ну что ж, садись, светило!" Черт дернул дерзости мои орать ему, сконфужен, я сел на уголок скамьи, боюсь - не вышло б хуже! Но странная из солнца ясь струилась, и степенность забыв, сижу, разговорясь с светилом постепенно. Про то, про это говорю, что-де заела Роста, а солнце: "Ладно, не горюй, смотри на вещи просто! А мне, ты думаешь, светить легко. - Поди, попробуй! А вот идешь взялось идти, идешь - и светишь в оба!" Болтали так до темноты до бывшей ночи то есть. Какая тьма уж тут? На "ты" мы с ним, совсем освоюсь. И скоро, дружбы не тая, бью по плечу его я. А солнце тоже: "Ты да я, нас, товарищ, двое! Пойдем, поэт, взорим, воспоем у мира в сером хламе. Я буду солнце лить свое, а ты - свое, стихами". Стена теней, ночей тюрьма под солнц двустволкой пала. Стихов и света кутерьма сияй во что попало! Устанет то, и хочет ночь прилечь, тупая сонница. Вдруг - я во всю светаю мочь и снова день трезвонится. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца! 1920 Русская советская поэзия. Под ред. Л.П.Кременцова. Ленинград: Просвещение, 1988.

ГИМН ЗДОРОВЬЮ Среди тонконогих, жидких кровью, трудом поворачивая шею бычьей, на сытый праздник тучному здоровью людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить, скучную, как банка консервов, давайте весенних бабочек ловить сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов, красавцы-отцы здоровенных томов, потащим мордами умных психиатров и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания, с толпой фонарей желтолицых, как скопцы, голодным самкам накормим желания, поросшие шерстью красавцы-самцы! 1915 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ВАМ! Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..

Если он приведенный на убой, вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваετε Северянина!

Вам ли, любящим баб 1000 да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду! 1915 Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск-Москва, "Полифакт", 1995.

НАДОЕЛО Не высидел дома. Анненский, Тютчев, Фет.* Опять, тоскою к людям ведомый, иду в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком. Сияние. Надежда сияет сердцу глупому. А если за неделю так изменился россиянин, что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза, роюсь в пиджачной куче. "Назад, наз-зад, н а з а д!" Страх орет из сердца, Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь. Вижу, вправо немножко, неведомое ни на суше, ни в пучинах вод, старательно работает над телячьей ножкой загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он. Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он. Два аршина безликого розоватого теста: хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи мягкие складки лоснящихся щек. Сердце в исступлении, рвет и мечет. "Назад же! Чего еще?"

Влево смотрю. Рот разинул. Обернулся к первому, и стало иначе: для увидевшего вторую образину первый воскресший Леонардо да-Винчи.

Нет людей. Понимаете крик тысячедневных мук? Душа не хочет немая идти, а сказать кому?

Брошусь на землю, камня корою в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая. Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая.

В дом уйду. Прилипну к обоям. Где роза есть нежнее и чайнее? Хочешь тебе рябое прочту "Простое как мычание"?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду, земля итогами подведена будет помните: в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди.

* См. Анненский, Тютчев, Фет. 1916 Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск-Москва, "Полифакт", 1995.

Я И НАПОЛЕОН Я живу на Большой Пресне, 36, 24. Место спокойненькое. Тихонькое. Ну? Кажется - какое мне дело, что где-то в буре-мире взяли и выдумали войну?

Ночь пришла. Хорошая. Вкрадчивая. И чего это барышни некоторые дрожат, пугливо поворачивая глаза громадные, как прожекторы? Уличные толпы к небесной влаге припали горящими устами, а город, вытрепав ручонки-флаги, молится и молится красными крестами. Простоволосая церковка бульварному изголовью припала,- набитый слезами куль, а У бульвара цветники истекают кровью, как сердце, изодранное пальцами пуль. Тревога жиреет и жиреет, жрет зачерствевший разум.

Уже у Ноева оранжереи покрылись смертельно-бледным газом! Скажите Москве пускай удержится! Не надо! Пусть не трясется! Через секунду встречу я неб самодержца, возьму и убью солнце! Видите! Флаги по небу полощет. Вот он! Жирен и рыж. Красным копытом грохнув о площадь, въезжает по трупам крыш!

Тебе, орущему: "Разрушу, разрушу!", вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей, сложите в костер лица! Все равно! Это нам последнее солнце солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши. Сегодня я - Наполеон! Я полководец и больше. Сравните: я и - он! Он раз чуме приблизился тронем, смелостью смерть поправ, я каждый день иду к зачумленным по тысячам русских Яфф! Он раз, не дрогнув, стал под пули и славится столетий сто, а я прошел в одном лишь июле тысячу Аркольских мостов! Мой крик в граните времени выбит, и будет греметь и гремит, оттого, что в сердце, выжженном, как Египет, есть тысяча тысяч пирамид! За мной, изъеденные бессонницей! Выше! В костер лица! Здравствуй, мое предсмертное солнце, солнце Аустерлица!

Люди! Будет! На солнце! Прямо! Солнце съежится аж! Громче из сжатого горла храма хрипи, похоронный марш! Люди! Когда канонизируете имена погибших, меня известней, помните: еще одного убила война поэта с Большой Пресни! 1000

1915 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

Эй! Мокрая, будто ее облизали, толпа. Прокисший воздух плесенью веет. Эй! Россия, нельзя ли чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог, хотя бы закрыв глаза, забыть вас, ненужных, как насморк, и трезвых, как нарзан.

Вы все такие скучные, точно во всей вселенной нету Капри. А Капри есть. От сияний цветочных весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег забудем, качая тела в пароходах. Наоткрываем десятки Америк. В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий, а я вон у меня рука груба как. Быть может, в турнирах, быть может, в боях я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар, посмотреть, растопырил ноги как. И вот врага, где предки, туда отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал, забыв привычку спанья, всю ночь напролет провести, глаза уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, оцетинясь, как еж, с похмелья придя поутру, неверной любимой грозить, что убьешь и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет, крахмальные груди раскрасим под панцирь, загнем рукоять на столовом ноже, и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум, любились, дрались, волновались. Эй! Человек, землю саму зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей, новые звезды придумай и выставь, чтоб, исступленно царапая крыши, в небо карабкались души артистов. 1916 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Мне надоели ноты много больно пишут что-то. Предлагаю

без лишних фраз универсальный ответ
всем зараз. Если

нас

войка тот или иной захочет

спровоцировать войной, наш ответ: нет! А если

даже в мордобойном вопросе руку протянут

на конференцию, мол, просим, всегда ответ:

да! Если

держава

та или другая ультиматумами пугает, наш ответ: нет! А если,
не пугая ультимативным видом, просят:

- Заплатим друг другу по обидам, всегда ответ:

да! Если

концессией

или чем прочим хотят

на шею насесть рабочим, наш ответ: нет! А если

взаимно,

вскрыв мощну тугую, предлагают:

- Давайте

честно поторгуем! всегда ответ:

да! Если

хочется
сунуть рыло им в то,
кого судим,
кого милуем, наш ответ: нет! Если
просто
попросят
одолжения ради простите такого-то
дурак-дядя, всегда ответ:
да! Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто там?! Каждый из вас
пусть не поленится и, прежде
чем испускать зрящие ноты, прочтет
мое стихотвореньице. 1923 Владимир Маяковский. Навек лю-
бовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

КРЫМ Хожу,
гляжу в окно ли я цветы
да небо синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе
глициния. На молоко
сменил
чай в сиянье
лунных чар. И днем
и ночью
на Чаир вода
бежит, рыча. Под страшной
стражей
волн-борцов глубины вод гноят повыброшенных
из дворцов тритонов и наяд. А во дворцах
другая жизнь: насытись
водной блажью, иди, рабочий,
и ложись в кровать великокняжью. Пылают горы-горны, и мо-
ре синемлузится. Людей
ремонт ускоренный в огромной
крымской кузнице. 1927 Владимир Маяковский. Навек любо-
вью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

КАЗАНЬ Стара,
коса стоит
Казань. Шумит
бурун: "Шурум...
бурум..." По-родному
тараторя, снегом
лужи
намарав, у d79 подворья
в коридоре люди

смотрят номера. Кашляя
в рукава, входит
робковат, глаза таращит. Приветствую товарища.
Я в языках
не очень натаскан что норвежским,
что шведским мажь. Входит татарин:
"Я
на татарском вам прочитаю
"Левый марш". Входит второй.
Косой в скуле. И говорит,
в карманах порыскав: "Я мариец. Твой
"Левый" дай тебе
прочту по-марийски". Эти вышли.
Шедших этих в низкой
двери
встретил третий. "Марш
ваш наш марш. Я
чуваш, послушай,
уважь. Марш
вашинский так по-чувашски..."
Как будто
годы
взял за чуб я - Станьте
и не пылите-ка! рукою
своею собственной
щупаю бестелое слово
"политика". Народы,
жившие,
въямься в нужду, притершись
Уралу ко льду, ворвались в дверь,
идя
на штурм, на камень,
на крепость культур. Крива,
коса стоит Казань. Шумит
бурун: "Шурум...
бурум..." 1928 Владимир Маяковский. Навек любовью ранен.
Москва: Эксмо-Пресс, 1998.

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ В поцелуе рук ли,
губ ли, в дрожи тела
близких мне красный
цвет
моих республик тоже
должен
пламенеть. Я не люблю

парижскую любовь: любую самочку
шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю,
сказав
тубо собакам
озверевшей страсти. Ты одна мне
ростом вровень, стань же рядом
с бровью брови, дай про этот
важный вечер рассказать
по-человечьи. Пять часов,
и с этих пор стих
людей
дремучий бор, вымер
город заселенный, слышу лишь
свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе
молний поступь, гром
ругней
в небесной драме, не гроза,
а это
просто ревность двигает горами. Глупых слов
не верь сырю, не путайся
этой тряски, я взнуздаю,
я смирю чувства
отпрысков дворянских. Страсти корь
сойдет коростой, но радость
неиссыхаемая, буду долго,
буду просто разговаривать стихами я. Ревность,
жены,
слезы...
ну их! вспухнут веки,
впору Вию. Я не сам,
а я
ревную за Советскую Россию. Видел
на плечах заплаты, их чахотка
лижет вздохом. Что же,
мы не виноваты ста миллионам
было плохо. Мы теперь
к таким нежны спортом
выпрямишь не многих, вы и нам
в Москве нужны не хватает
длинноногих. Не тебе,
в снега
и в тиф шедшей
этими ногами, здесь
на ласки

выдать их в ужины
с нефтяниками. Ты не думай,
щурясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда,
иди на перекресток моих больших
и неуклюжих рук. Не хочешь?
Оставайся и зимуй, и это
оскорбление
на общий счет нанижем. Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму одну
или вдвоем с Парижем. 1928 Владимир Маяковский. Навек лю-
бовью ранен. Москва: Эксмо-Пресс, 1998.